

Александр Куприн

Страшная минута



Александр Иванович Куприн

Страшная минута

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2474305

Аннотация

«Просторная новая терраса дачи была очень ярко освещена лампой и четырьмя канделябрами, расставленными на длинном чайном столе. Июльский вечер быстро темнел. Старый липовый сад, густо обступивший со всех сторон дачу, потонул в теплом мраке. Только листья сирени, в упор освещаемые лампой, резко и странно выступали из темноты, неподвижные, гладкие и блестящие, точно вырезанные из зеленой жести. Ни шороха, ни звука не доносилось из заснувшего сада. Несмотря на раздвинутые полотняные занавеси, свечи горели ровным, немигающим пламенем. Было душно, и чувствовалось, что в нагретом наэлектризованном воздухе медленно надвигается ночная гроза. Пахло медом, цветущей липой и бузиной...»

Александр Иванович Куприн Страшная минута

Просторная новая терраса дачи была очень ярко освещена лампой и четырьмя канделябрами, расставленными на длинном чайном столе. Июльский вечер быстро темнел. Старый липовый сад, густо обступивший со всех сторон дачу, потонул в теплом мраке. Только листья сирени, в упор освещаемые лампой, резко и странно выступали из темноты, неподвижные, гладкие и блестящие, точно вырезанные из зеленой жести. Ни шороха, ни звука не доносилось из заснувшего сада. Несмотря на раздвинутые полотняные занавеси, свечи горели ровным, немигающим пламенем. Было душно, и чувствовалось, что в нагретом наэлектризованном воздухе медленно надвигается ночная гроза. Пахло медом, цветущей липой и бузиной.

Варвара Михайловна Рязанцева приготавливала на террасе с помощью горничной чай для собравшихся гостей. Перебравшись на дачу, она и ее муж не прекратили по вторникам своих интимных вечеров, которые сделались только малолюднее и теснее, потому что собирались на них исключительно дачные знакомые. Городским было неудобно ездить за пятнадцать верст на какие-нибудь три-четыре часа.

Варвара Михайловна веселыми, возбужденными глазами оглядывала стол, покрытый новой, нигде не смятой скатертью, на снежной белизне которого так приятно веселили глаз серебряные сухарницы, молочники, и ложки, и блестящие хрустальные вазы с вареньем, конфетами и фруктами. В продолжение всех четырех лет замужества она интересовалась своим небольшим хозяйством с живой и искренней любовью, свойственной молодым женщинам, привыкшим окружать мужа нежной заботливостью.

Она обожала своего мужа, несмотря на двадцатилетнюю разницу в их годах. Этот человек, известный всему ученому миру крупными работами в области бактериологии, был в частной жизни большим ребенком, болезненным, хилым, бесконечно добрым, рассеянным до анекдотической степени и деликатным до робости. Варвара Михайловна гордилась честью носить его славную фамилию неутомимого ученого и безукоризненно честного человека, но еще больше гордилась тем, что она создала для него и постоянно поддерживала комфорт и порядок семейной жизни и что сумела незаметно сделаться во всем ему необходимою: его нянькою, его памятной книжкой, его другом. И теперь, занятая хлопотливыми обязанностями хозяйки, часто с заботливой любовью поглядывала через двери в гостиную, где в углу над шахматным столиком склонилась большая, характерная голова Рязанцева с открытым шишковатым лбом мыслителя и с детскими глазами, голубыми и ясными.

Когда чай был готов, Варвара Михайловна пригласила гостей на террасу. В гостиной остались только ее муж и его всегдашний партнер, старый профессор Ильченко, оканчивавшие партию. Она подошла к ним и, облокотившись сзади на стул мужа, спросила, где они будут пить чай. Ильченко, проигравший уже две партии и теперь видевший, что никак не может защитить своего короля от ладьи Рязанцева, встал из-за стола.

– Я положительно не в состоянии сегодня скомбинировать двух самых простых ходов, – сказал он с досадою. – Голова – точно свинцовая. Вероятно, ночью будет гроза.

Он вышел на террасу. Рязанцев, весь вечер не выдавший жены, взял ее за руку и слегка притянул к себе.

– Какая ты сегодня красавица, моя девочка, – сказал он, ласково ей улыбаясь.

Она стояла перед мужем, легкая и грациозная, во всем пышном расцвете своей двадцативосьмилетней красоты, с высокою грудью и гибкой талией. Легкая кофточка из тонкого белого крепа, лежавшая на ней свободными складками и не скрывавшая стройных очертаний ее молодого тела, оставляла открытыми по локоть круглые и крепкие, чуть пушистые руки. У нее было нежное, матовое лицо темной шатенки; губы маленькие, полные и круто изогнутые, какие встречаются только у женщин на картинах Рубенса; большие глаза, казавшиеся вечером совсем черными благодаря расширившимся зрачкам; пышные, немного жесткие, черно-рыже-

ватые волосы, выющиеся мелкими завитками на висках и на затылке...

– Ты мной доволен, папа? – спросила она, нежно притрагиваясь пальцами к его маленькой жилистой руке.

– Знаешь, – сказал Рязанцев, любуясь женой, – мне иногда начинает казаться, что ты чересчур хороша для такого старого гриба, как я.

Варвара Михайловна покраснела. Ей было больно и неприятно слышать такие слова от него, которого она обожала до самозабвения. Ей часто казалось, что она еще слишком мало платит ему за его трогательную и доверчивую любовь к ней. У нее вдруг явилось неудержимое желание стать перед ним на колени и обнять руками его ноги.

– Не смей так никогда говорить, – прошептала она.

И жестом ребенка, берущего что-нибудь украдкой, она быстро поднесла к губам его руку и поцеловала ее два раза – сверху и снизу ладони.

Потом она вышла на террасу и принялась разливать чай, прислушиваясь к общему разговору, готовая поддержать его, если он ослабнет. Но разговор не клеился. Все жаловались на жару и истому перед грозой. Некоторые поговаривали уже о том, как бы попасть домой до дождя.

– А что же вашего Андрея Лукича сегодня нет? – спросила у Варвары Михайловны жена Ильченки, полная, суровая на вид дама, любившая винт и сплетни и державшая своего мужа под башмаком.

– Я не знаю, отчего его нет до сих пор, – ответила Варвара Михайловна. – Он обещал быть, и даже не один. С ним придет его приятель... Позвольте, как его фамилия?.. Он еще так известен своим голосом. Ах да, вспомнила: Ржевский.

– Разве вы до сих пор не были с ним знакомы? – спросила удивленно Ильченко.

– Нет. Но зато я об нем очень много слышала. Ильченко сделала лукавое лицо и погрозила Рязанцевой пальцем.

– Смотрите, не влюбитесь. Этот господин очень опасен для молодых жен и старых мужей.

Госпожа Ильченко принадлежала к числу тех привилегированных сплетниц, которые под предлогом «высказывания всей правды в глаза» говорят повсюду дерзости и гадости, рассеивая за собою грязь, смуту и ненависть. Ее никто не любил, большинство терпеть не могло, и все побаивались.

Варвара Михайловна ничего не ответила на это циничное предостережение и только улыбнулась немного свысока и презрительно, с сознанием чистоты и ничем не запятнанной репутации. Зато словами Ильченко очень заинтересовалась Мария Федоровна Тиль, гимназическая подруга Рязанцевой, красивая, глупая и сентиментальная вдовушка, за которой считались уже три-четыре всем известных связи.

– А он очень хорош, этот Ржевский? – спросила она.

Многие из гостей улыбнулись. Репутация Ржевского была очень хорошо известна в некоторых отношениях. Ильченко обязательно сообщила все, что о нем знала. Хорош ли он?

Это как кому нравится, но, по ее мнению, у него лицо слишком выставочное, так сказать, парикмахерское. Нравственности у него нет никакой, и это-то, кажется, и привлекает к нему искательниц приключений, как бабочек на огонь, хотя в то же время, надо ему отдать справедливость, он очень молчалив относительно своих связей. Что касается до его пения, то правда, поет он изумительно хорошо. Его с удовольствием приняли бы на любую сцену, если бы только он выразил желание. Но он предпочитает вести свою праздную и легкомысленную жизнь, потому что не нуждается в средствах и не желает себя стеснять никакими условиями...

Варвара Михайловна не дослушала окончания характеристики Ржевского. Ее чуткое ухо заботливой матери уловило за две комнаты возню, всегда сопровождавшую укладывание ее четырехлетней дочери в постель. Она извинилась перед гостями и поспешила в детскую.

В полутемной детской, слабо освещаемой трепетным мерцанием лампы перед образом, Аля стояла на коленях в своей постели, обнесенной вокруг высокой сеткой, в одной нижней рубашке, с голой шеей и голыми, милыми детскими ручонками. Старая няня, когда-то носившая на руках Рязанцева, со старческим кротким терпением уже целых полчаса добивалась, чтобы Аля прочла как следует «Богородицу». Аля не хотела молиться и барахталась в руках няни, закидывая назад голову и звонко смеясь. Увидев входящую мать, она быстро вскочила на ноги и протянула ей навстречу руки

с растопыренными пальчиками.

– Молись, Аля, молись... Боженька будет сердиться, если узнает, что ты не слушаешься няни, – сказала притворно строгим голосом Варвара Михайловна, освобождая свою шею от объятий девочки.

– А ты, мама, мне сказку расскажешь? – спросила Аля, лукаво заглядывая снизу в глаза матери и не выпуская ее шеи.

– Расскажу, расскажу, если ты только будешь умницей.

Варвара Михайловна начала вполголоса, тщательно выговаривая слова, читать молитву, Аля повторяла за ней громко, тоненьким голосом, забавно коверкая слова и быстро махая рукой все в одном направлении, от плеча к животу. Окончив молитву, она сама добавила обычное: «Спаси, господи, папу, маму, няню, бабушку, младенца Елену и всех моих родных», – и сейчас же улеглась на правый бок, подложив ладони обеих рук под голову, «как спят умные девочки».

– Ну, мама, сказку, – потребовала она.

Варвара Михайловна никогда, рассказывая дочери сказки, не затруднялась выбором сюжета. Она начинала прямо: в некотором царстве, в некотором государстве жили-были... и затем вставляла первое попавшееся слово: старый-престарый король с большой седой бородою или – жил-был страшный волк, который бегал вокруг деревни и таскал белых овец.

Теперь ей почему-то пришла в голову волшебница, и она начала тягучим, немного таинственным голосом, глядя Алю

по открытой теплой грудке:

– Однажды жила-была волшебница. Она была такая большая-большая... выше колокольни, и во рту у нее было два ряда острых белых зубов и длинный-предлинный красный язык со стрелой на конце...

– Мама, значит, она кушала девочек? – спросила озабоченно Аля.

– Кушала, только не всех, а непослушных и замарашек. И у нее была еще сова, большая такая птица с круглыми глазами, которая днем ничего не видит и сидит на дереве, а ночью все летает, и кричит, и достает себе пищу. Потом у нее была еще черная кошка, а сама волшебница была одноглазая. Только она была не злая, и кто к ней приходил за добрым делом, тому она всегда помогала. Вот однажды сидит эта волшебница в своей избушке на курьих ножках и слышит, что кто-то выходит из лесу...

Она продолжала еще несколько минут говорить, что приходило на ум, пока не услышала ровного, глубокого дыхания заснувшей девочки. Тогда она ее перекрестила, подтыкала под ее размякшее тельце осунувшееся одеяло и вышла из детской той мягкой, неслышной походкой, какой умеют ходить одни только матери.

Одновременно с ее возвращением двое мужчин всходили на террасу со стороны сада. Первым поднимался Андрей Лукич Норич, двоюродный брат Рязанцева, старый, услужливый и хлопотливый холостяк, преподававший в гимназии

греческий язык. Следом за ним шел легкой самоуверенной походкой очень высокий, стройный и сильный на вид господин лет тридцати с лишком. Он был красив эффектной, сразу бросающейся в глаза красотой смуглого брюнета, выхоленного, здорового, самонадеянного, с темными глазами, влажными и дерзкими, с яркими чувственными губами под небольшими красивыми черными усами: трафарет итальянского красавца.

Варвара Михайловна невольно с любопытством остановила на нем глаза. Ей первый раз в жизни приходилось видеть человека с такой дурной, опасной и всегда необъяснимо привлекательной для женщины репутацией, как Ржевский. Но она сейчас же поймала себя на этом любопытстве и сконфузилась и рассердилась на себя. Что ей за дело до этого дачного донжуана? Неужели она позволит себе спуститься до мелкого и дурного любопытства, как Ильченко или неразборчивая Марья Федоровна? И сейчас же ей пришло в голову сравнение между Ржевским и ее мужем. Тот – фат, – это сразу видно, – дюжинный, ограниченный человек, правда, красивый, но именно в парикмахерском стиле, между тем как ее муж такой интеллигентный, такой простой, широкий и великодушный. Наконец эта репутация... Разве она в ее глазах может иметь другое значение, чем ряд грязненьких, «дешевых амуров», как называет этот сорт любви какой-то писатель?

Поэтому, когда Андрей Лукич подвел к ней и предста-

вил Ржевского, она поздоровалась с ним довольно холодно. Ржевский поклонился ей почтительно, но все с той же самоуверенной улыбкой красавца, знающего, что он безукоризнен с внешней стороны, прекрасно одет и любим женщинами.

Потом Варвара Михайловна нашла, что все сразу, даже как-то неприлично, почти льстиво накинулись на Ржевского, хотя он разговаривал гораздо скромнее, чем можно было предполагать, судя по его улыбке и победоносной манере держать себя. Кто-то спросил, правда ли, что он знаком лично с Мазини, и Ржевский очень просто и занимательно рассказал о своем знакомстве с знаменитым певцом.

– Мне довелось, – говорил он, – познакомиться с ним перед одним частным спектаклем, который устраивал для очень ограниченного кружка меломанов известный Мейеровский, отличающийся, кстати сказать, в музыкальном отношении колоссальным невежеством. Я тоже был приглашен участвовать и потому явился на репетицию, назначенную в доме Мейеровского. Мне пришлось петь последним, так как я немного опоздал. Артистов собралось человек десять, все люди мне незнакомые. Пою я, право, теперь уж не помню что, кажется, арию из «Ренегата» Доницетти. Пропел свое и отхожу от рояля. В это время подходит ко мне какой-то господин, так среднего роста, крепыш, брюнет, волосы и борода черные, в живописном беспорядке. Вообще лицо энергичное и красивое – разбойничье, под глазами складки, вроде меш-

ков. Одет небрежно. Подходит он ко мне, – заметьте, я его в первый раз вижу, – берет меня под руку и начинает делать на ломаном французском языке замечания относительно моего пения. Замечания самого резкого свойства, хотя, правда, очень точные и выразительные. Мне это показалось немного неуместным, и, кроме того, вы, конечно, знаете, что у каждого артиста есть свое самолюбие. Я его перебиваю: «Извините, но прежде всего я не имею чести вас знать». Он улыбается и самым уверенным тоном отвечает: «Напротив, я убежден, что вы меня знаете. Я – Мазини». И действительно, он мне дал много очень метких указаний, каких я никогда не слышал ни от одного профессора пения. По-моему, рассказы, существующие в публике, о дерзости и грубости Мазини, совершенно неосновательны. Он на меня произвел самое приятное впечатление. Язык у него очень живой, образный, и все, что он говорит, он пересыпает характерными итальянскими проклятиями и восклицаниями: «Porche misere!»¹. С публикой, в особенности со своими назойливыми поклонниками, он, правда, немного заносчив и небрежен, но этот недостаток можно ему извинить, если принять во внимание его громадную известность, избалованность и не менее громадное самолюбие.

Ржевский рассказал еще несколько своих воспоминаний из мира оперных знаменитостей. Как ни пристрастно отнеслась к нему с первого раза Варвара Михайловна, однако она

¹ Свиньи несчастные! – *ит.*

не могла не оценить, что, рассказывая, он все время оставлял себя в тени, что совсем не вязалось с его самоуверенным видом. И рассказывал он очень интересно, умело передавая из своеобразного закулисного быта такие мелкие, но характерные стороны, для него самого давно уже ставшие обыденными и скучными, которые, однако (он это знал), должны были увлечь слушателей своею для них новизной.

Но Варвару Михайловну тревожил и волновал взгляд Ржевского, неотступно обращенный на нее, как будто бы он рассказывал только для нее одной. Она, не оборачиваясь, чувствовала этот внимательный, нежный, любующийся взгляд на своем лице, на руках, на теле, чувствовала тем особым, тонким инстинктом, которым одарено большинство женщин и который всегда безошибочно им говорит, насколько они нравятся мужчине. Несмотря на беспричинное враждебное чувство к Ржевскому, она все-таки два или три раза, увлеченная тем, что он говорил, встретила с ним глазами, и оба раза быстро опустила их в замешательстве.

«Надо постараться, чтобы он у нас больше не бывал, – вдруг неожиданно мелькнуло в голове Варвары Михайловны, но она тотчас же спохватилась. – Да неужели я в самом деле боюсь этого „неотразимого“? Он и в самом деле может это подумать, если я буду сидеть как в воду опущенная. Надо быть естественнее и хоть что-нибудь из простой вежливости сказать ему».

В это время госпожа Ильченко выразила уверенность, что

Ржевский, конечно, доставит обществу удовольствие своим пением.

– Я всегда охотно пою, – сказал просто Ржевский, – но, право, я не уверен, всем ли мое пение доставит удовольствие?

При этом он совсем уже повернулся в сторону Варвары Михайловны, вызывая ее на ответ.

– Вы слишком скромны, – сказала Рязанцева, стараясь казаться непринужденной и безотчетно робея. – Я так много слышала рассказов о вашем пении, что вам было бы совестно отказываться.

Когда она говорила эти незначащие слова, глаза их опять встретились. Это был один из тех странных, непонятных для психолога, неуловимых для присутствующих, взглядов, которые говорят гораздо больше слов и которые между людьми, в первый раз встречающимися, внезапно, помимо их воли, устанавливают взаимную близость, разрывая условную завесу приличий. Такой взгляд иногда незнакомым еще между собою мужчине и женщине смутно, но безошибочно предсказывает, что рано или поздно они будут принадлежать друг другу.

– Хорошо, но я надеюсь, что вы мне будете аккомпанировать? – спросил Ржевский.

– Боюсь, вы останетесь мною недовольны. Но я все-таки попытаюсь...

– О, вы слишком скромны. В таком случае, если вы окон-

чили свой чай, то начнемте.

Они пошли в гостиную к роялю, на котором грудями лежали ноты.

– Вы знакомы с романсами Чайковского? – спросила Варвара Михайловна, перебирая тетради и чувствуя очень близко за своей спиной присутствие Ржевского.

– О, конечно.

– Вы их любите?

– А вы?

– А вы?

Она засмеялась, достала толстый том в шагреновом переплете, положила его на пюпитр и села перед роялем.

– Откройте наугад, – посоветовал Ржевский. – Чайковский во всем одинаково прекрасен.

Она развернула тетрадь на середине и сразу узнала романс «Страшная минута», который на нее всегда производил сильное впечатление своей оригинальной мелодией, страстной и робкой в одно и то же время.

– Вы это знаете? – спросила она, поднимая кверху голову, чтобы взглянуть на Ржевского, и поправляя под собою стул.

– Да. Начнемте.

Она легко и выразительно сыграла трудную интродукцию и слегка остановилась перед вступительным тактом. Разговоры в гостиной и на террасе сразу притихли.

Ты внимаешь, вниз склонив головку,

Очи опутив... —

раздались в гостиной, точно сразу наполнив ее, сильные и нежные звуки прекрасного свежего баритона.

И, тихо вздыхая,
Ты не знаешь, как мгновенья эти
Страшны для меня...

Опять Варвара Михайловна почувствовала, что горячий взгляд Ржевского не отрывается от ее лица и что поет он только для нее одной, как за чаем для нее одной рассказывал. «Зачем он это делает? Ведь всем в глаза бросается», — подумала она с испугом. В то же время она с напряженным вниманием следила за аккомпанементом, и — странно — никогда еще под ее руками рояль не оттенял так красиво и послушно пения, как теперь.

Ею понемногу овладевало какое-то странное забытье. И комната, и гости, и муж, и Аля — все это отошло куда-то в глубокую даль, подернулось туманом, перестало существовать. На всем свете остались только двое; *он*, этот незнакомый красавец, странный и такой близкий к ней, и — она, взволнованная, испуганная, точно совершающая преступление.

Отчего же робкое признание
В сердце так тебе запало глубоко?
Ты вздыхаешь, ты молчишь и плачешь, —

пел Ржевский, и в голосе его звучала такая горячая, тоскливая мольба о взаимной любви, такой настойчивый призыв, которым, казалось, невозможно было противиться.

В это время они оба протянули руки, чтобы перевернуть страницу, и пальцы их встретились. Варвара Михайловна почувствовала нежное пожатие, ни для кого, кроме их двоих, не заметное. Она быстро отдернула задрожавшую руку и в замешательстве приблизила вспыхнувшее лицо к нотам. А над нею все настойчивее, гипнотизируя и призывая, лились прекрасные, чарующие звуки:

Иль слова любви в устах твоих немеют?

Или ты меня жалеешь? Не любишь?

«Это оттого, что гроза приближается», – обманывала себя Варвара Михайловна, чувствуя, как жаркая истома разливается по всему ее телу и как трудно и прерывисто дышит ее грудь.

Последние слова романса:

Я приговор твой жду! Я жду решенья! —

Ржевский пропел с таким глубоким волнением и так умоляюще-властно, слегка даже протягивая к Варваре Михайловне руки, что она невольно закрыла глаза, чувствуя, как ее сердце забилось часто и тревожно. Окончив аккомпане-

мент, она, вся потрясенная, усталая, с блестящими глазами, откинулась на спинку стула. Гости стали настойчиво просить Ржевского еще что-нибудь спеть, но Рязанцева быстро встала из-за рояля.

– Я не могу больше аккомпанировать, – сказала она, – слишком душно. Ее упрашивали долго, но напрасно. Она не хотела, потому что боялась этих горячих глаз и этого чудного, властного голоса, и со стыдом сознавала, что эта боязнь уже не возмущает ее, как раньше. Наконец вызвалась аккомпанировать Марья Федоровна, но на первых же тактах рубинштейновской «Азры» она сбилась сама, сбила певца и сконфузилась. Второй романс она знала еще меньше и в конце концов заявила, что она сегодня не в расположении.

Ржевский сам сел за рояль. Некоторое время он с рассеянным видом перебирал клавиши, точно что-то припоминая. Варвара Михайловна, стоя в дверях террасы, видела, как на его губах блуждала неопределенная улыбка. Потом вдруг лицо его сделалось сразу серьезным, даже как будто бы побледнело. Он медленно поднял свои прекрасные глаза на Варвару Михайловну и, глядя на нее в упор, прямо обращаясь к ней, запел после бурной прелюдии, придавая своему голосу и фразировке яркий, своеобразный, цыганский колорит, известный романс Тарновского:

Чаруй меня! Чаруй меня!

Дай счастье мне, дай жизни радость!

Хотя на миг влюбись в меня,
Твоей любви вкусить дай сладость.

Дикая, огненная, не знающая границ страсть зазвучала в его гибком голосе вместе с исступленной мольбой, и Варвара Михайловна, точно очарованная, не могла отвести глаз от пристального, говорящего взгляда Ржевского. Ее голова горела и тихо кружилась, кровь напряженно билась в висках, грудь дышала высоко и часто, мгновенно высохшие губы полураскрылись. Она была точно во сне или в опьянении. Этот красивый человек, сильный и страстный, сразу, в продолжение одного вечера, с какой-то ужасной и пленительной дерзостью перешагнул через все препятствия, лежащие между ними, и с каждой минутой она себя чувствовала более и более охваченной его опасной, греховной властью, не имея сил сопротивляться.

А он между тем шел дальше, все ярче и смелее оттеняя слова:

Люби меня! Люби меня!
Отдайся мне без размышленья;
Твоя любовь полна огня...
Люби меня для наслажденья!

Варвара Михайловна видела крупную, мужественную фигуру Ржевского, его выразительное лицо с нервно раздувающимися ноздрями и яркими чувственными губами, его ши-

рокую грудь, сильные плечи и руки, и волнующие слова романа проникали ее желанием той страсти, которую эти слова и эта наружность обещали. Жажда новых, бесстыдных поцелуев, долгих объятий, от которых захватывает дыхание, жажда всего того, что она встречала до сих пор только в романах и что ей казалось раньше выдуманным, приподнятым, даже смешным, проснулась в ней с бессознательной силой. Глаза ее увлажнились, и сердце ныло тем особенным, сладким, замирающим чувством, которое она испытывала только в детстве, когда, качаясь на качелях, летела вниз с четырехсаженной высоты.

Когда Ржевский окончил романс, из сада блеснула дальняя молния. Дамы испуганно разом поднялись со своих мест и принялись торопливо искать шляпы и накидки. Они не слушали приглашений Рязанцева поужинать, быстро одевались, целовали одна за другой Варвару Михайловну и поспешно уходили, с оханьем и выкрикиваниями, как всегда женщины перед грозой.

Варвара Михайловна рассеянно прощалась с гостями. Ее мучила и волновала мысль, что Ржевскому и Андрею Лукичу, приехавшим из Москвы, муж ее, по всей вероятности, предложит переночевать на даче. «Ни за что! Ни за что! – нетерпеливо повторяла она себе. – Если муж будет просить, я не скажу ни одного слова, и, я думаю, у него не хватит дерзости остаться». Смутное, зародившееся где-то в сокровенных тайниках души предчувствие говорило ей, что если только

Ржевский проведет эту ночь под одной с ней кровлей, то все ее семейное счастье, накопленное четырьмя годами тихой, ничем не омраченной жизни, должно грубо рушиться и погибнуть.

Когда все гости разошлись, Ржевский, до сих пор медливший, взял с подоконника свою легкую соломенную шляпу. Но Рязанцев тотчас же запротестовал:

– Неужели вы хотите ехать в город? Да я вас ни за что не пушу. Вы даже извозчика теперь нигде не достанете.

Ржевский повернул голову к Варваре Михайловне. Она видела, что его глаза просят и в то же время выражают покорную готовность подчиниться ее решению. Она быстро отвернулась от него и, делая вид, будто не слышит слов мужа, вышла на террасу. Но, лицом к лицу с жутким молчанием деревьев, застывших в тягостном томлении, среди душной темноты, ей сделалось страшно, и вместе с тем она почувствовала жалость к Ржевскому. Варвара Михайловна воротилась в комнату.

– Через полчаса разразится страшная гроза, – сказала она сухо и избегая глядеть на Ржевского. – Вам придется остаться.

Он молча поклонился ей и положил шляпу. Варвара Михайловна решила не оставаться больше с гостями ни одной минуты. Ей хотелось поскорее уйти в свою комнату, лечь, успокоиться, забыться сном.

– Разве ты не будешь ужинать? – спросил ее Рязанцев, ко-

гда она подошла к нему, чтобы поцеловать его в лоб, что она всегда делала, прощаясь с ним.

– Нет, – ответила она кротно, – я устала.

И, целуя мужа, она точно в первый раз заметила и его большую лысину, испещренную тоненькими красными жилками, и глубокие морщины на лице, и дряблую желтизну щек. «Я на него всегда смотрела только как на отца», – подумала с грустью Варвара Михайловна.

Придя к себе, в свою маленькую комнатку с веселыми обоями и узкой девичьей кроватью (Рязанцевы всегда спали в разных комнатах), она зажгла перед зеркалом две свечи и стала раздеваться. Медленными, ленивыми движениями она сняла верхнее платье, освободилась от корсета и, вынув из головы шпильки, быстрым, привычным движением руки распустила по плечам и спине волны густых темных волос.

Прижав крепко ладони к груди, закинув назад голову и полузакрыв глаза, она долго оглядывала в зеркале свою прекрасную полунагую фигуру, и смутное чувство жалости к себе закралось в первый раз в ее душу. Года через четыре, много через пять, думала она, завянет это упругое розовое тело, старость проведет на лице морщины, яркие губы побледнеют... А любила ли она хоть один час той соблазнительной любовью, к которой сейчас так пламенно призывал ее Ржевский? Знала ли она наслаждение отдать всю свою пышную расцветшую красоту, отдать всю себя сладким ласкам? Нет. Редкие минуты физической близости к мужу вспоминала с

холодным отвращением. Она шла к нему, исполняя тяжелый долг, и ему всегда бывало потом неловко перед ней, и он робко уходил, прося извинения, догадываясь о том, что его жена испытывает в эти минуты.

– Пропадает молодость, пропадает красота, – шептала с горечью Варвара Михайловна, глядя на свое отражение глазами, затуманившимися тоской. – За что же? За что?

Внезапно ее охватил стыд. «Господи! Что со мною делается? – пронеслось у нее в голове. – Неужели я такая гадкая, безнравственная? Неужели я развратна и сама до сих пор не знала себя? О господи, научи меня! Господи, поддержи меня!»

Она опустилась на колени перед маленьким образком, висевшим в изголовье ее кровати. Но губы ее машинально шептали привычные слова, а мысли упрямо бежали от молитвы. «Пропадают мои молодость и красота, – печально думала Варвара Михайловна, – и никто, никто не насладится ими».

Окончив молитву, она потушила свечи и легла. Холодное прикосновение простынь и подушек сначала несколько успокоило ее, но через пять минут она уже металась по постели с горячей головой, постоянно перевертывая подушки, чтобы найти холодное местечко. Сладкие и грешные мечты, которые она гнала прочь от себя вечером, теперь, в тишине и темноте, овладевали ее воображением и распяляли его – те фантастические мечты, которые хоть раз в жизни обуревали ночной порою каждого смертного, которые недоступны

для признаний и которые утром кажутся чудовищным кошмаром. Теперь уже поведение Ржевского не возмущало, не оскорбляло чистоты Варвары Михайловны. Наоборот, она всеми силами души жаждала теперь, чтобы этот опьяняющий вечер продолжался без конца. Она сожалела о том, что Ржевский не был еще смелее, а она – еще уступчивее. В забытьи, задыхаясь среди душной и немой темноты, она хватывала руками подушку и тесно прижималась к ней. Порою ей казалось, что она слышит в комнате странные, крадущиеся звуки и чье-то осторожное дыхание; она прислушивалась, зажимая рот рукою, и убеждалась, что то стучит в ее груди сердце.

«Что, если он осмелится проникнуть ко мне? – спрашивала она себя в эти мгновения. – Что может помешать этому дерзкому и страстному человеку? Ну, а что же, если он и войдет? Одна ночь в жизни, одна только ночь, полная счастья... Разве за нее не стоит заплатить ценою долгого раскаянья, ценою самоотвержения в продолжение всей остальной жизни?»

Молния блистала все чаще и ярче, гром рокотал глухо и непрерывно, точно приближающийся голодный зверь, но дождь еще медлил, собираясь с силами, прежде чем обрушиться на землю. Вдруг Варвара Михайловна явственно услышала против своего окна в саду, шагах в десяти от дома, осторожное и нежное пение:

Отчего же робкое признание
В сердце так тебе запало глубоко?

Чутким ухом она сразу узнала и слова и мотив и, быстро сев на кровати, прошептала, точно говоря кому-то на ухо:

– Он не знает моего окна. Я отворю. Но странная тяжесть так сковала все ее члены, что она не шевельнулась и замерла, охватив колени руками.

Ты вздыхаешь, ты молчишь и плачешь...
Иль слова любви в устах твоих немеют?

– продолжал напевать голос за окном едва слышно, но неотразимо настойчиво.

– Я отворю, – опять прошептала Варвара Михайловна, глядя расширившимися глазами в темноту и слыша горячее биение сердца.

Или ты меня жалеешь? Не любишь?

Голос удалялся... «Он уйдет», – быстро подумала Варвара Михайловна и, поспешно перебежав босыми ногами от кровати к окну, откинула штору и, стараясь не шуметь, приотворила ставни.

Страшный порыв ветра вырвал ставни из ее дрожащих рук и с ожесточением хлопнул ими об стену. В то же время все небо мгновенно сделалось ослепительно-синим, и на нем резко вырисовались черные верхушки деревьев. Варвара

Михайловна зажмурила глаза и, оглушенная раскатом грома, грянувшим вместе с молнией, отпрянула назад.

– Варвара Михайловна... Varbe!.. Ради бога... Только два слова... – услышала она из сада взволнованный шепот Ржевского.

Она, вся дрожащая, испуганная, с пересохшим ртом, стояла нерешительно среди комнаты и не отвечала на этот призыв.

– Прелестная, чудная!.. – умолял под самым окном осторожный шепот.

«Ах, все равно! – решила внезапно Варвара Михайловна, судорожно стиснув руками голову. – Это судьба».

Она сделала два шага к окну и вдруг остановилась на месте, объятая ужасом и стыдом.

– Мама! Мама! Мама! – услышала она из-за стены нетерпеливые, призывающие звуки детского голоса. – Мама, я боюсь! Мама, где ты?

Она бросилась в детскую, сразу позабыв и об открытом окне, и о стоявшем под ним Ржевском, и о своих ночных волнениях. В детской было темно, лампадка погасла, няня спала неслышным старческим сном, а Аля заливалась слезами, призывая мать.

Варвара Михайловна наклонилась над кроватью Али, обхватила руками ее маленькое тельце, теплое и душистое, и с горячей любовью крепко, как только могла, прижала к себе.

– Что с тобой, моя дочечка? Что, моя славная? – спраши-

вала она, осыпая поцелуями шею, руки и ноги ребенка.

– Мама, я боюсь... темно, страшно... бог на небе гремит... – жаловалась девочка, разом стихая и тесно прижимаясь к матери.

– Не бойся, не бойся, глупенькая. Я всегда с тобой, моя девочка, моя кошечка, моя звездочка. Хочешь, я сама с тобой лягу? Хочешь? Ну вот так, видишь, какая ты умница...

Она долго говорила ей нежные, простые фразы. Девочка перестала плакать и только изредка нервно, прерывисто вздыхала. Наконец она успокоилась совсем и заснула, слушая ласковые, баюкающие слова.

Варвара Михайловна долго еще называла заснувшую дочь нежными именами, между тем как из глаз ее лились чистые, радостные слезы, – первые слезы выздоровевшего от тяжелой болезни человека.

Гроза разразилась, и дождь освежил томящуюся землю. Страшная минута прошла.